

A detailed oil painting of a man with dark hair and a mustache, wearing a dark military-style coat with a high collar and a gold epaulet on his right shoulder. The background shows a hazy landscape with a stone building on the left and mountains in the distance. The overall tone is somber and historical.

**ИВАН
НИКИТЧУК**

ПРОРОК



Загадка гибели поэта
Михаила Лермонтова

Иван Игнатьевич Никитчук Пророк, или Загадка гибели поэта Михаила Лермонтова

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31518455

ПРОРОК, или Загадка гибели поэта Михаила Лермонтова И.И.

Никитчук.: Алгоритм; Москва; 2018

ISBN 978-5-906914-82-8

Аннотация

Новая книга И. Никитчука посвящена последним месяцам и дням жизни великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, раскрывает основу его жизненной позиции, сурово противостоящего и светской власти, и духовной, и нормативно-бытовой. Нужен ли был властям такой вольный поэт? Неприятие высшего света, гонения власти, предательство друзей и близких – все это привело к трагической развязке и гибели гения в неполных 27 лет. Русская литература понесла очередную, после гибели А.С. Пушкина, непоправимую потерю. Наиболее ярко об этом сказал В.Г. Белинский: «Долго теперь России не дожидаться таких стихов, какими нас обогатил Лермонтов...» Лермонтов во всех своих противоречиях, при всей сложности характера – прежде всего величайший национальный русский гений, очень рано осознавший свою трагическую миссию. Дуэль Лермонтова

до сих пор окутана тайной. Множество версий не отвечают однозначно на все известные обстоятельства этой трагедии. Автор представил свою версию событий, происходивших в день гибели поэта. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Содержание

Пролог	7
Глава первая	10
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Иван Никитчук

ПРОРОК, или

Загадка гибели поэта

Михаила Лермонтова

*Светлой памяти моей сестры
Тихончук (Никитчук) Любови Игнатьевны
посвящается*

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,

Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

М.Ю. Лермонтов

Пролог



Михаил Юрьевич Лермонтов... Нет в русской литературе фигуры более талантливой, притягательной и загадочной. Он как метеор пролетел над своим временем, ярко осветив его блеском своей поэзии.

Этот молодой военный, в николаевской форме, с тонкими усиками, выпуклым лбом и горькою складкой между бровей, был одною из самых феноменальных поэтических натур.

Исключительная особенность Лермонтова состояла в том, что в нем соединялось глубокое понимание жизни с громадным тяготением к сверхчувственному миру. В истории поэзии едва ли сыщется другой подобный темперамент. Нет другого такого поэта, который считал бы небо своей родиной и землю – своим изгнанием. Если бы это был характер дряблый, мы получили бы поэзию сентиментальную, слишком эфирную, стремление в «туманную даль», второго Жуковского, – ничего более. Но Лермонтов был человеком сильным, страстным, решительным, с ясным и острым умом, во-

оруженный волшебною кистью, смотревший глубоко в действительность, с ядом иронии на устах. И поэтому прирожденная неотразимая потребность Лермонтова в признании мира разливает на всю его поэзию обаяние чудной, божественной тайны. Он оставил во всей своей поэзии глубокий след таинственной связи с вечностью. Он не от мира сего. Откуда-то, с недостижимой высоты, поэт осыпает нас своими чарующими песнями...

Это был человек гордый и в то же время огорченный своим внеземным происхождением, с глубоким сознанием которого ему приходилось странствовать по земле, где все казалось ему доступным для его ума и таким гадким для сердца.

Индивидуальность Лермонтова была и остается в течение почти двух веков загадкой. Во всем, что он писал, чувствуется взор человека, парящего «над грешной землей», человека, «не созданного для мира»...

Из всех загадок трагической дуэли не загадочно только поведение самого Михаила Лермонтова. Он никого убивать не собирался, стрелять не собирался, воспринимал все как нелепое недоразумение... Мысли Мартынова понять значительно труднее. Прямодушным этот человек никогда не был. Он понимал, что Лермонтов – храбрый офицер – примет его вызов, но стрелять в него не будет. Он наверняка переживал из-за шуток Михаила Юрьевича, но еще больше завидовал ему. Мечтал ли он тогда же, во время дуэли, о геростратовой

славе? Вполне возможно. Увы, но он, может быть, предвидел, что когда-нибудь войдет в число «великих людей России» благодаря тому, что убил русского гения...

Смерть Лермонтова от пули Мартынова была по существу самоубийством: в последний год жизни Лермонтов делал все, чтобы его вызвали на дуэль. Трагедия Мартынова в том, что он не смог стать выше оскорбленного самолюбия...

Ожог души и сердца – вот в чем сущность Лермонтова и его гения. Темное небо времени ожглось им, как метеором. Лермонтов – сгусток бунтарского пламени – погашен о черную дыру века...

Глава первая

Петербург



1841 год. Ранняя весна. Вечер. У входа в летний театр на Елагином острове стояли Лермонтов, Э. Мусина-Пушкина, Столыпин (Монго) – двоюродный дядя Лермонтова, на два года моложе племянника, молодой офицер, и поэт – граф Соллогуб. За черными деревьями мигали зарницы. Ветер налетал порывами и почти задувал свечи в больших фонарях. С шумом ветра сливались звуки скрипок и флейт, настроиваемых в оркестре.

– Должно быть, в заливе сейчас ужасная буря, – с грустью в голосе проговорила Мусина-Пушкина.

– Да, весной здесь часто бывают непогоды, – ответил Лермонтов. – Но весной все быстро меняется, и вслед за бурей быстро появляется солнце. Ах, милая, природа это удивительный мастер наряжать все вокруг нас с восхитительным вкусом.

– Государь и государыня насаждают подлинный вкус не

только в нарядах дам, но и в более серьезных областях искусства, – некстати парировал Соллогуб, обращаясь за поддержкой к Столыпину.

Лермонтов рассмеялся.

– Вы разве не согласны со мной, Михаил Юрьевич? – с удивлением спросил Соллогуб.

– Право, не знаю, граф... Я еще не тратил своего времени на то, чтобы подумать об этом. Во всяком случае, ваша мысль не лишена некоторого остроумия.

Мусина-Пушкина умоляюще посмотрела на Лермонтова:

– Господа, полно вам, пойдемте в залу. Здесь становится холодно. Кажется, сегодня в зале будет великая княгиня Мария Николаевна.

Зал театра уже порядочно был заполнен гостями, ярко освещен – блистали мундиры, наряды и бриллианты, гремела музыка.

– Какой блеск вокруг! – воскликнула Эмилия Карловна.

– Да, блеск беспощадный, – с насмешкой в голосе отозвался Михаил Юрьевич.

– Вы, Михаил Юрьевич, как всякий поэт, любите необычайные сравнения. Что же беспощадного в этом блеске? – удивленно спросил Соллогуб.

– Этот блеск удивителен тем, что в одно мгновение может разрушить наши прекрасные надежды на счастье, наши прекрасные иллюзии... Недавно, граф, ночью я ехал в Царское на лошадах. Подходила гроза. Передо мной в темноте стояли

густые высокие нивы, подымались кущи столетних деревьев, и мне казалось, что я еду по богатой, устроенной к счастью стране. Но сверкнула очень яркая зарница, и я увидел каждый колос хлеба на пыльных полях, жалкие хижинки. Колося были редкие и пустые, хижинки – покосившиеся. Так исчез обман богатой и счастливой страны.

– Да... Это весьма интересно..., – растерянно промолвил Соллогуб.

– Наоборот, это весьма огорчительно.

– Должен ли я понимать ваш рассказ как иносказание?

– Располагайте свободно своим мнением, граф.

– Тише, господа, дочь императора вошла в зал, – шепнула Эмилия Карловна.

В зале прошел шепот, дамы и кавалеры поклонами приветствовали великую княгиню. Мария Николаевна, оглядываясь, подозвала Соллогуба.

– Кто этот офицер, с которым вы тотчас разговаривали, граф?

– Это Лермонтов, ваше высочество.

– Вот он каков! Какие у него мощные плечи и какой неприятный взгляд. Он некрасив, но притягателен.

Лермонтов был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали беззаботное равноду-

шие. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться. В свете утверждали, что язык его зол и опасен... Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, на нем можно было прочесть следы прошедшего и чудные обещания будущности... В его улыбке, в его странно блестящих глазах было что-то таинственное. Они не смеялись, когда он смеялся! Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен... При этом он имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам...

– Тончайший поэт, ваше высочество, – продолжил Соллогуб.

– Да. Я читала его стихи и прозу... Как жаль, что нынче поэты чураются Двора. А что иное, как не Двор, могло бы

придать полный блеск их поэзии. Но времена менестрелей прошли.

– Как знать, ваше высочество...

– Я бы хотела видеть Лермонтова у себя.

– Лишний алмаз в ожерелье вашего высочества только усилит его сияние.

– Как вы любите, граф, выпренно выражаться, – отходя с улыбкой, сказала Мария Николаевна.

Проходя мимо Мусиной-Пушкиной, она на мгновение остановилась и поздоровалась с ней.

– Я слышала, графиня, что вы ухаживаете за бедными девушками в тифозном госпитале?

– Да, ваше высочество, – ответила Мусина-Пушкина, сделав реверанс.

– Это похвально. Но берегите себя. Ваша прелестная жизнь нужна не только вашему супругу и родным, она еще дает пищу для развития поэзии.

– Какая дерзость! – произнесла тихо Мусина-Пушкина после того, как от них удалилась Мария Николаевна.

Лермонтов с Мусиной-Пушкиной отошли за колонны зала, уединившись. Графиня молча протянула Лермонтову руку.

– Простите меня, – сказал Михаил Юрьевич, – Я часто не был в силах скрывать свое отношение к вам и дал повод для этой грубости.

– Пустое, Лермонтов... – сказала она дрожащим голосом.

– Чем больше я встречаюсь с вами, тем тяжелее у меня на сердце. Вашу молодость и чистоту уже пятнают клеветой. Свет ненавидит любовь.

– Нам, кажется, придется не видеться друг с другом, – грустно прозвучал ее голос.

– Как вам будет угодно, – с неприкрытой печалью в голосе ответил Лермонтов.

– Ты сердисься, Мишель? Я думаю, нам давно пора перейти на «ты».

В голосе Мусиной-Пушкиной послышалась тревога.

– О нет. Но, очевидно, любовь слишком тяжелая ноша для таких слабых плеч, как ваши, графиня. Ну что ж! Должно быть, мир устроен так, что истинная любовь существует только в воображении поэтов... Ежели бы вы знали, какую сердечностью были полны мои мысли о вас!.. Я благодарен тебе, и, конечно, с удовольствием согласен перейти на «ты»... Как это мило, Эмилия!..

Лермонтов неожиданно замолк. К ним подошел Столыпин. Он выглядел бледным и взволнованным. Он быстро поклонился с извинением Мусиной-Пушкиной и сказал, почти задыхаясь:

– Мишель, я тебя везде ищу...

– А что? Что случилось, Монго? – с тревогой в голосе спросил Лермонтов.

– Дурные вести с Кавказа, Мишель.

– Говори!

– Получено известие... Саша Одоевский...

– Ну?!

– Саша Одоевский умер от горячки... Где-то в дырявой палатке, в походе...

– Убили Сашу! Откуда ты узнал? – прокричал Лермонтов, тряся Столыпина за плечи.

– Он умер, Мишель.

– Нет, его убили! Оставь меня, Монго! Я хочу побыть один... И ты, Эмилия, извини меня...

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнания
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!..
И мрачных гор зубчатые хребты...
И вокруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синее, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет.

Как великан склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

Стихи вырвались из самого сердца, наполненные болью за друга, боевого товарища, поэта...

– Ах, Саша, Саша!.. Как же так?.. Уходят лучшие люди, способные составить славу и гордость России... – еле слышно прошептал Михаил Юрьевич. – Может быть, и мне уготована злая судьба, может быть и мне суждено умереть там же, среди величественных гор Кавказа?..

Уже загоралась утренняя заря, а Лермонтов еще не ложился спать. Он сидел за столом в своей комнате с зажженной свечой в глубокой задумчивости и что-то временами чертил на листе бумаги или писал.

В комнату заглянула проснувшаяся бабушка, Елизавета Алексеевна.

– Мишенька, ты еще не ложишься или уж поднялся? Я даже не слышала...

– Милая бабушка, не спится мне что-то. Не беспокойтесь, выплюсь еще... Прикажите чаю мне подать.

– Сейчас, Мишенька! Сейчас принесут чай... Мишенька, я вчера передала свою просьбу самому царю через Жуковского, чтобы тебе разрешили остаться в Петербурге. Может, уважат меня, старуху. Мне здесь так тяжело без тебя, Ми-

шенька. Ты моя единственная надежда. Я все изнервничалась, у меня иногда даже ноги отнимаются...

– Ну, что вы, моя бабуля? Я был бы безмерно счастлив, если бы мне вышла отставка. Как бы весело мы зажили в наших Тарханах. Какое это удивительное место – Тарханы! Я часто вижу себя там ребенком, гуляющим на зеленой траве перед домом...

– Мишенька, мне хочется, чтобы ты не оставил службу сейчас, пока я жива. Вот похоронишь меня и делай что хочешь. И что мы с тобой будем делать в Тарханах? От скуки ты там изведешься...

Доложили о визите Столыпина.

– Мишенька, заговорила я. Сейчас велю вам чаю подать. Проходи, Алексей Аркадьевич.

– Простите, что я ворвался в такой ранний час. Ты какой-то бледный, Михаил Юрьевич. Здоров ли? – обеспокоенно спросил Столыпин, присаживаясь в кресло напротив Лермонтова. – Я тебе принес несколько приятных новостей.

– Давно обо мне не было приятных известий. Давай, делись...

– В последней книжке «Отечественных записок» есть очень лестный отзыв самого Белинского о твоих стихах, Мишель. Ты становишься знаменитостью, и это радует нас, твоих друзей. Ты только послушай, что он пишет: «... наш век есть век размышления. Поэтому рефлексия есть законный элемент поэзии нашего времени, и почти все великие поэты

нашего времени заплатили ему полную дань...» Мишель, это он о тебе – «великие поэты нашего времени»! Я горжусь тобой!.. Нет, нет, не возражай! Ты послушай далее. Он приводит твои стихи:

«Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом...»

И далее пишет: «Какая верная картина. Какая точность в выражении!.. Эти стихи написаны кровью: они вышли из глубины оскорбленного духа: это вопль. Это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!.. По глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, его создания напоминают собой создания великих поэтов... Таких стихов долго, долго ждала Россия...» Ну, как? Каков Белинский?..

– Виссарион Григорьевич – восторженная душа, и, право, он здесь меня излишне превозносит. Не спорю, эти стихи мне удались, но я не предполагал такого их обобщения... Я высоко ценю мнение Белинского.

Он многого еще не знал о самом себе. Но в нем жило ощущение будущего. Было ли это предвидением или бунтом со-

вести, взрывом молодых чувств – едва ли бы стал объяснять, даже если бы его спросили в упор. Спрашивать было некому. Хотя к его имени теперь тянулось множество людей. Российская читающая молодежь готова была признать его своим вожаком, следовать за ним. Голос Лермонтова прозвучал как клич в ночи, как призыв к действию. Так он и был понят. Он еще просто не успел осознать, сколько единомышленников ему готовилось!

Неважно, кто с чего начинается. Главное, что по истечении лет человек непременно становится тем, чем должен быть. Обстоятельства помогают этому не потому, что они благоприятны, а оттого, что человек призвания поворачивает их к себе нужной стороной: чего-то не замечает вовсе, другое с жадностью впитывает.

– Спасибо, Монго, за книжку «Отечественных записок», – пробежав глазами по ее содержанию, сказал Лермонтов. – Надеюсь, ты ее мне оставишь?

– Конечно, Мишель!

– Ты еще что-то хотел мне сообщить?

– Да...

– У тебя какой-то таинственный вид.

– Нет, Мишель, я бесстрастен во всех обстоятельствах жизни.

– Не тяни, говори свою новость, Монго.

– Это скорее не новость, а поручение, почти дипломатическое. Только я прошу тебя не отвечать мне сгоряча, хоро-

шо не подумав обо всех обстоятельствах дела.

– Ты меня заинтриговал. Даже лучше, чем самая ветреная дама в маскараде.

– Великая княгиня Мария Николаевна выразила желание, чтобы ты был ей представлен.

Лермонтов долго молчал в глубоком размышлении. Глаза его зажглись неприятным огнем, исказилось гневом.

– Неужто они забыли, что это я написал слова о палачах «свободы, гения и славы»?! – вдруг громко крикнул он, ударив кулаком по столу.

– Мишель!

– Не пугайся, Монго. Извини меня... Где и когда я буду иметь счастье быть представленным великой княгине?

– Ее высочество будет на ближайшем бале у Воронцовых-Дашковых.

– Мишенька, чего это ты раскричался? Двое вас, а подняли такой шум, что я думала – невесть что у вас стряслось. Что с тобой, Мишенька? – с беспокойством в голосе промолвила Елизавета Алексеевна, войдя в комнату.

Лермонтов бросился к бабушке, стал перед ней на колени, обнял ее ноги и умоляюще проговорил:

– Бабушка, вы все можете. Бабушка, милая, добейтесь моей отставки! Я уеду из Петербурга.

– Да что ты, Мишенька, Христос с тобой. Снова ты об этом. Встань с колен сейчас же.

Лермонтов поднялся:

– Я не могу больше служить в армии. Сделайте для меня это последнее доброе дело.

Бабушка села в кресло:

– Опомнись, Мишенька. Ты принят в лучших домах, по службе тебя не стесняют, – рано тебе еще в отставку. Алеша, что с ним?

– Он прав, Елизавета Алексеевна. Его надо избавить от мундира, – сказал Столыпин, поддерживая своего друга.

– Я ведь прошу немногого. Хотя бы краешек свободы.

– Мишенька, мы уже говорили с тобой об этом. Да что ты будешь делать в отставке? Зачем тебе эта свобода? Неужто тебя уж так утесняют?

– Я уеду в Тарханы. Помните, бабушка, какие там осенью дни... Помнишь, Монго, как туманы стелются над прудом и желтые листья шумят на ветру.

– Да что тебе в Тарханах-то делать при твоей молодости? Губить ее, что ли?

– Работать, бабушка! Работать!!!

– Не пойму я тебя, Мишенька. Стихи писать всюду можно. Да как у меня язык повернется просить об отставке? Хотя бы разрешили тебе остаться в Петербурге.

– Ну что ж, воля ваша. Но чувствую я, что недолго еще мне быть в столице. Снова под чеченские пули...

У Елизаветы Алексеевны из глаз потекли слезы:

– Мишенька, друг мой, одно ты у меня утешение в жизни. Смирись. Умру я скоро, смерть уже стучится в окошко...

неужто ты не дашь мне покойно закрыть глаза?

Столыпин незаметно выходит.

– Я старуха беспонятная, что скрывать. Стихи твои чудные, но разве это занятие для дворянина? Не соображаю я этого. Не гневайся на меня, Мишенька. Уж позволь мне любить тебя, старой дуре, попросту, без затей.

– Как бы ни сложилось, но верьте, моя милая бабушка, что я люблю вас всем сердцем.

– Я верю тебе, Мишенька... Ты откушай еще чайку, а я пойду по дому похлопочу.

Оставшись один, Лермонтов снова погрузился в раздумья.

Бал у Воронцовых-Дашковых был в полном разгаре. Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Здесь собирался весь цвет петербургского общества, часто присутствовали и особы царской семьи. Вот и сегодня здесь брат императора великий князь Михаил Павлович и дочь императора – Мария Николаевна.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было все, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски, что, впрочем, вовсе не удивительно; несколько генералов и государственных людей; один английский лорд, почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если

считать стекла двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут были и доморощенные дипломаты, путешествовавшие за свой счет не далее Ревеля и утверждавшие резко, что Россия государство совершенно европейское и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголово. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстуков на военную молодежь, преданную удовольствию...

Танцующие кавалеры разделились на две группы – одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без усталости, короче, исполняли свою обязанность как нельзя лучше, другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица скользили небрежно по паркету, изредка бросая фразы своей партнерше.

Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы, и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белила, звучные фразы, заимствованные из модных романов, бриллианты...

Лермонтов смотрел на происходящее вокруг него и невольно подумал: «Женщина на бале составляет со своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на

бале совсем не то, что женщина в своем кабинете. Судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, все равно, что судить о мнении и чувствах поэта, прочитав одну его поэму или даже стихотворение...»

Лермонтов глазами пытался найти в веселящейся толпе Эмилию Карловну, милую Эмму, и не находил. К нему подошла давняя знакомая.

– Отчего вы не танцуете, Мишель? – спросила она его.

– Я всегда и везде следую вашему примеру.

– Разве с нынешнего дня.

– Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?

– Иногда бывает слишком поздно... Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. Я вас теперь очень хорошо знаю.

– А нельзя ль узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

– О, это тайна, – сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

– Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, ужели другая важнее первой?

Она покраснела при всей своей неспособности краснеть. Приняв серьезный и несколько печальный вид, она отвечала с расстановкой:

– Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

– Но еще не забыли?

– О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

Лермонтов отвечал почти автоматически, он был весь погружен в атмосферу бала.

Наконец он увидел вошедшую в залу Мусину-Пушкину. Сердце его радостно забилось.

– Простите меня, графиня, мне необходимо отлучиться.

Поцеловав руку своей собеседницы, он направился в сторону Мусиной-Пушкиной. Он подошел к ней с душевным волнением, поклонился и поцеловал ее руку. Теперь рядом с ним была любимая женщина – обворожительная Эмилия Мусина-Пушкина. Она сегодня была по-особому красивая. Черные ее глаза блистали счастьем.

– Как я счастлив видеть тебя, Эмма. Я уже даже не надеялся, – с нежностью в голосе почти прошептал Лермонтов.

– Почему, Мишель? Я же тебе обещала быть на бале, – ответила она с чарующей улыбкой.

«Ах, бог мой, кажется, я готов отдать за эти глаза и улыбку все на свете». Эта мысль сверкнула в мозгу Лермонтова, как молния.

Они уже станцевали несколько туров, стояли у колонны, тихо переговариваясь. Одновременно к ним подошли Столыпин и распорядитель бала.

– Господин Лермонтов, – обратился к нему распоряди-

тель, – вас приглашает подойти их высочество Мария Николаевна.

– Алексей Аркадьевич, я тебе поручаю развлекать Эмилию Карловну на время моего отсутствия.

– Не беспокойся, Мишель, мы обещаем не скучать.

Подойдя к великой княгине, Лермонтов поклонился.

– Я весь в вашей воле, ваше высочество.

– Мсье Лермонтов, признаюсь, я очарована вашей поэзией.

– Благодарю вас.

– Но я бы хотела, чтобы вы, Лермонтов, были окружены самым высоким блеском, вы заслуживаете его. Только близость ко Двору даст вам этот блеск и свободу. Она придаст великолепию и Двору, и особую силу вам как поэту. Как прекрасно было бы, если бы при Дворе существовал поэт, могучий, блистательный. Тогда наша эпоха могла бы считаться одной из самых просвещенных эпох в истории России. Что же вы молчите?

– Я слушаю вас с чрезвычайным вниманием.

– В ближайшие дни я позволю себе оторвать вас от вдохновений, чтобы поговорить с вами об этом в другом, более уютном и спокойном месте.

– Это будет совершенно бесполезно, ваше высочество.

– Почему?

– Потому что поэзией торгуют только подлецы, ваше высочество. А я не считаю себя в их числе.

Марина Николаевна, закрывшись веером, с гневным выражением лица отвернулась от Лермонтова, прошипев:

– Выскочка!..

Лермонтов поклонился и тоже отвернулся.

К нему быстро подошел Столыпин:

– Миша, я тебя очень прошу. Уходи сейчас же отсюда. Не затягивай ты петлю у себя на шее.

– Иначе я не мог поступить, Монго.

– Я не знаю, о чем вы говорили, но великая княгиня была оскорблена.

К ним подошел и молодой князь Вяземский, оказавшийся также на балу:

– Теперь у всех ваших врагов, Михаил Юрьевич, развязаны руки. Ты ставишь и нас, твоих друзей, в отчаянное положение.

Лермонтов, с грустной улыбкой, очень тихо ответил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.